Н. Н. Муравьев-Карсский
Собственные записки
1811–1816
• КУЧКОВО ПОЛЕ •
ВОЕННЫЕ МЕМУАРЫ

Военные мемуары (Кучково поле)

Николай Муравьев-Карсский

Собственные записки. 1811–1816

Издательство «Кучково поле»

1886

УДК 82-94
ББК 63.3(2)47

Муравьев-Карсский Н. Н.

Собственные записки. 1811–1816 / Н. Н. Муравьев-Карсский — Издательство «Кучково поле», 1886 — (Военные мемуары (Кучково поле))

ISBN 978-5-9950-0449-3

«Собственные записки» русского военачальника Николая Николаевича Муравьева (1794–1866) – уникальный исторический источник по объему и широте описанных событий. В настоящем издании публикуется их первая часть, посвященная тому времени, когда автор офицером Свиты Его Величества по квартирмейстерской части участвовал в основных сражениях Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1813–1814 годов.По полноте нарисованных картин войны, по богатству сведений о военно-походной жизни русской армии, по своей безукоризненной правдивости и литературной завершенности записки Н. Н. Муравьева являются одним из самых заметных явлений в русской мемуарной литературе, посвященной эпохе 1812 года.

УДК 82-94
ББК 63.3(2)47

ISBN 978-5-9950-0449-3

© Муравьев-Карсский Н. Н., 1886
© Издательство «Кучково поле», 1886

Содержание

Предисловие 6
Часть первая 9
Часть вторая 26
Конец ознакомительного фрагмента. 33

Николай Муравьев-Карсский
Собственные записки. 1811–1816

Публикуется по изданию: Русский архив. 1885. Вып. 9. С. 5–84; Вып. 10. С. 225–262; Вып. 11. С. 337–408; Вып. 12. С. 451–497; 1886. Вып. 1. С. 7–54; Вып. 2. С. 69–146

© Валькович А. М., вступ. ст., 2015
© ООО «Кучково поле», 2015

Предисловие

Среди воспоминаний русских офицеров о грандиозной эпохе Отечественной войны 1812 года «Собственные записки» Н. Н. Муравьева-Карсского (1794–1866), выдающегося военачальника, в годы Крымской войны прославившегося взятием турецкой крепости Карс, занимают особое место. В отличие от многих других произведений мемуарного жанра, посвященных тому героическому времени, эти воспоминания написаны с редкой правдивостью и впечатляющей подробностью. В них содержатся масштабные и яркие картины незабываемых кампаний русской армии против Наполеона в 1812–1814 годах, представленные с позиции просвещенного офицера, с честью выдержавшего все испытания той военной поры. Несомненным достоинством «Собственных записок» Н. Н. Муравьева-Карсского является и то обстоятельство, что созданы они вскоре после описываемых событий, пока в памяти молодого офицера еще свежи были впечатления от всего им испытанного и увиденного в те годы.

Николай Николаевич Муравьев родился в Петербурге в семье морского лейтенанта, отважно сражавшегося в войне со шведами. Его отец Николай Николаевич Муравьев (1768–1840) получил отличное домашнее образование и завершил курс наук в Страсбургском университете. По заключении Верельского мира он женился на дочери инженер-генерала Александре Михайловне Мордвиновой (1770–1809), чья внешность, по отзыву сына, «соответствовала ее прелестным качествам души». Счастливые супруги, как и большинство дворян того времени, были многодетны: у них были пять сыновей и одна дочь. Это позволяло родственникам большое и дружное семейство Муравьевых шутливо называть «Муравейником». Николай был вторым ребенком в семье. Родители, несмотря на скромное состояние, постарались дать своим детям прекрасное домашнее образование. Николай проявил большие способности в постижении «математических наук», в совершенстве знал, помимо необходимого в свете французского, также немецкий и английский языки. Его младший брат Михаил, будучи студентом Московского университета, в 1810 году основал «Московское общество математиков» в целях распространения математических знаний посредством бесплатного преподавания и перевода лучших иностранных математических трудов. Муравьев-старший был избран президентом и принял самое живое участие в работе общества, где состояли и его сыновья.

В следующем году Николай, успешно выдержав в феврале экзамен, поступил на военную службу колонновожатым Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части, где призвана была служить элита русской армии, и куда поступили на службу и его братья: Александр и Михаил. Николаю шел семнадцатый год. Отличные знания его в математике обратили на себя внимание князя П. М. Волконского, управляющего квартирмейстерской частью. Юный колонновожатый преподает геометрию в математических классах при чертежной канцелярии квартирмейстерской части, затем его назначают смотрителем вновь открывшегося в Петербурге училища колонновожатых, и одновременно он заведует библиотекой училища.

13/25 апреля 1811 года Николай Муравьев получил производство в первый офицерский чин. В молодые лета он терпел «много нужды» и был вынужден жить на небольшое офицерской жалованье. С юности он увлекался идеями Ж. Ж. Руссо и вместе с братьями и некоторыми сослуживцами был основателем преддекабристского общества «Юношеское собрание» или «Чока». Молодые люди намеревались отправиться на остров Сахалин, где собирались основать коммунистическую республику. Однако надвигавшаяся военная гроза заставила их отказаться от этих утопических мечтаний. В открывшейся кампании 1812 года прапорщик Муравьев, получивший для отличия от братьев № 2, состоял при гвардейском корпусе великого князя Константина Павловича, а после отъезда цесаревича из армии поступил в Главную квартиру 1-й Западной армии под начальство генерал-квартирмейстера К. Ф. Толя. Вместе с бра-

тьями он участвовал в сражении при Бородино, где, согласно наградному списку, Муравьевы, «находясь в сражении, посыланы были в опасные места, проводили войска по назначению с расторопностию и неустрашимостию».[1] В награду Николай получил свой первый боевой орден – Св. Анны 3-й степени. После оставления Москвы он состоял «в авангардной кавалерии, с коей был в сражениях: под Красной Пахрой, под Чириковым, и с генерал-адъютантом Корфом под Гремячевым; потом командирован в авангард под команду генерала от инфантерии графа Милорадовича и был в сражениях: октября 6 под Тарутиным, 22 под Вязьмой и при преследовании неприятельских войск до Вильны…»[2] В конце похода свитский офицер перемогался от болезни, но продолжал нести свою нелегкую службу. Описывая то время, он вспоминал: «Служба наша не была видная, но трудовая; ибо не проходило почти ни одной ночи, в которую бы нас куда-нибудь не послали. Мы обносились платьем и обувью и не имели достаточно денег, чтобы заново обшиться. Завелись вши. Лошади наши истощали от беспрерывной езды и от недостатка в корме. Михайла начал слабеть в силах и здоровье, но удержался до Бородинского сражения, где он, как сам говорил мне, «к счастию, был ранен, не будучи более в состоянии выдержать усталости и нужды». У меня снова открылась цинготная болезнь, но не на деснах, а на ногах. Ноги мои зудели, и я их расчесывал, отчего показались язвы, с коими я, однако, отслужил всю кампанию до обратного занятия нами в конце зимы Вильны, где, не будучи почти в силах стоять на ногах, слег».[3] В армию Н. Н. Муравьев вернулся в апреле 1813 года и принял участие в главных сражениях кампаний в Германии и Франции. Боевые отличия принесли ему дважды повышения в чине и новые ордена, а в августе 1814 года он в числе лучших свитских офицеров был переведен поручиком во вновь учрежденный Гвардейский генеральный штаб. В 1816 году Н. Н. Муравьев в чине штабс-капитана состоял при посольстве генерала А. П. Ермолова в Персии, а по успешному завершению дипломатической миссии остался продолжать службу на Кавказе. Здесь мы прерываем наш рассказ о жизни и деятельности автора мемуаров, поскольку продолжение последует во втором томе публикаций его дневников и воспоминаний за последующее время.

В послевоенные годы Н. Н. Муравьев начал писать свои воспоминания, составившие шесть частей и охватывающие период его военной жизни с 1811 по 1816 год, где главное место занимали события героической и драматической эпохи 1812 года. Последнюю часть, написанную в Тифлисе в декабре 1818 года, он заключил следующими знаменательными словами: «Тружусь и стараюсь усовершенствовать себя; вижу свои недостатки, испытываю себя. Таким образом провел я уже более двух лет».[4] Над этими воспоминаниями работал он и в последние годы своей жизни, добавляя примечания и тщательно вымарывая некоторые фрагменты из текста «Записок», а иногда удаляя и целые листы, наверное, отличающиеся излишней смелостью суждений, поскольку автор был человеком независимых убеждений, полностью разделяющим передовые взгляды своего века. Н. Н. Муравьев представил запоминающуюся правдивую картину событий эпохи 1812 года. Его мемуары написаны живым литературным слогом и очень занимательны. Здесь истории трагические нередко соседствуют с комическими. Немало в них и сатиры. По богатству сведений о военно-походном быте русской армии, по впечатляющим описаниям сражений, по ярким характеристикам генералов и офицеров, с которыми ему довелось служить, «Записки» Н. Н. Муравьева по праву занимают одно из главных мест в русской мемуарной литературе, посвященной эпохе 1812 года.

---

[1] Подвиги офицеров и солдат русской армии в сражении при Бородине: Сборник документов. М., 2012. С. 16–17.

[2] Формулярный список о службе и достоинстве Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части полковника Муравьева. Ноября 30 дня 1820 года. Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 489. Оп. 1. Д. 7065. Л. 7об.

[3] См. с. 118–119 настоящего издания.

[4] См. с. 503 настоящего издания.

После смерти генерала его мемуары были представлены в редакцию журнала «Русский архив» одной из дочерей Н. Н. Муравьева – Александрой Николаевной Соколовой. Их опубликовали по оригинальной рукописи с цензурными купюрами под названием «Записки Николая Николаевича Муравьева» в нескольких номерах журнала в 1885–1886 годах.[5] Вскоре после публикации виднейший российский историк А. Н. Пыпин оценил эти воспоминания как «наиболее любопытные свидетельства, какие оставили современники об этой великой эпохе».[6]

Обнародованный более 100 лет назад этот уникальный источник впоследствии был почти забыт. Предпринимаемое настоящее издание позволяет вернуть нашим современникам возможность познакомиться с интереснейшими мемуарами и существенно пополнить наше представление о том столь далеком, но по-прежнему притягательном периоде русской истории, названным А. С. Пушкиным «временем славы и восторга». Текст воспоминаний приведен в современной орфографии с сохранением своеобразия русского языка первой четверти XIX века, исправлены опечатки первого издания и в ряде случаев восстановлены пропущенные слова и предложения. В именном указателе содержатся биографические данные об упоминаемых в мемуарах лицах, число которых превышает шестьсот человек. Сведения о гвардейских и армейских офицерах основаны на материалах полковых историй и архивных дел.

Пользуясь случаем, сердечно благодарим признанных знатоков французской и прусской армии наполеоновской эпохи А. А. Васильева и С. Ю. Люлина, любезно предоставивших биографические данные о некоторых французских генералах и офицерах прусской гвардии.

А. М. Валькович

[5] Оригинал воспоминаний находится в Отделе письменных источников Государственного исторического музея.

[6] *Пыпин А. Н.* Очерки литературы и общественности при Александре I. Пг., 1917. С. 365.

Часть первая
Со времени определения в службу до выступления в поход. 1811–1815 (Писано в Петербурге в 1816 году)

Родился я 14 июля 1794 г., воспитывался и учился в родительском доме. В феврале месяце 1811 г. отец привез меня в Петербург для определения в военную службу.

Я не имел опытности в обращении с людьми, обладал порядочными сведениями в математике, не имел понятия о службе и желал вступить в нее. Уже четыре года был я влюблен. Сначала я бывал только у своих родственников, т. е. у братьев и двоюродного брата Александра Мордвинова. С сим последним и со старшим братом детские ссоры довольно часто расстраивали наше согласие; в детстве ссоры эти вызывали между нами драки, в описываемое время кончались упреками, иногда горькими; теперь же спором и смехом.

Брат Александр был годом меня старее в службе. В день приезда моего в Петербург он возвратился из Волыни, куда был командирован для съемки. Увидев его в офицерском мундире, я сердечно порадовался при мысли, что скоро сам его надену. Дня три после его приезда отец повез меня рекомендовать к капитану Сулиме, а сей последний к генерал-адъютанту князю Петру Михайловичу Волконскому, который, исправляя тогда должность генерал-квартирмейстера, исключительно занимался преобразованием Генерального штаба, называвшегося тогда свитой Его Величества. Наступил страшный день, назначенный для экзамена. Полковник Хатов и подполковник Шефлер, которые меня экзаменовали, первый в фортификации, а второй в математике, знали менее моего; я хорошо выдержал экзамен, они остались довольны и донесли о том князю, который поздравил меня колонновожатым и приказал мне немедленно явиться в Семеновский полк к полковому адъютанту Сипягину для обмундирования. Я прибежал домой, запыхавшись, и обрадовал отца, который с нетерпением ожидал решения (подагра его удерживала в постели). То было в пятницу. Мне не терпелось надеть братнин кивер и саблю, и, поехав в Семеновский полк, я заказал себе мундир, который надел в воскресенье поутру.

Первое происшествие, сопровождавшее вступление мое в свет и на службу, ознаменовалось пощечиной, не у места, но правильно данной. Не похвалюсь сим поступком, но полагаю горячность свою извинительной в уважение молодости моей и неопытности; ибо я не воображал себе, что неблагопристойно было в хорошем обществе дать заслуженную пощечину. Конечно, пощечина дается только в той крайности, когда противник другой обиды почувствовать не умеет; иначе давший ее подвержен получить подобную же; но в настоящем случае последствия показали, что пострадавший мало огорчился. Приступим к делу.

Надев мундир, мне следовало идти к присяге и явиться к князю Волконскому. Но, рассудив, что в воскресенье никого дома не застанешь, я отложил явку свою до понедельника. В тот же день у адмирала Н. С. Мордвинова были бал и маскарад. Я увижу Н. Н., она меня увидит в мундире; что могло быть увлекательнее! Батюшка страдал подагрой и остался дома, а меня ввечеру отправил с братом к Николаю Семеновичу. Променял ли бы я турецкий или испанский костюм на колонновожатский мундир? Я приехал с кивером в руках, не снимал сабли и стучал шпорами, часто спотыкаясь. Поляки, турки, гусары, рыцари – все казались мне ниже меня. Переодетая Н. Н. явилась с двумя рыцарями. Семен Николаевич Корсаков и брат ее Сашенька обнажили мечи и делали пример боя; один из рыцарей упал, а другой увел ее танцевать. Я стал в углу и завистливыми глазами глядел на счастливого Корсакова. Вблизи меня в первой паре

стоял Михайлов, переодетый в гусарское платье штабс-ротмистра Фигнера,[7] одетого туркой и танцевавшего во второй паре со своею невестой, сестрой Михайлова. Михайлов, подойдя ко мне, насмешливо сказал:

– А унтер-офицер танцевать не смеет, – и, не дав мне времени отвечать, поспешил к своей даме, с которой удалился.

Кровь во мне закипела. По окончании экосеза я подошел к Михайлову и, напомнив ему сказанные слова, хладнокровно, учтивым образом, просил у него объяснения. Он замешался; на то время подбежал Александр Мордвинов и, узнав в чем дело, шуткой сказал Михайлову:

– Что вы армейские! Знаете ли, что всякий колонновожатый достоин большего уважения, чем ваш поручик?

– Согласен, – отвечал мне Михайлов, – что ваш корпус почетный, но и я также выдерживал строгие экзамены. – Затем он стал распространяться в названиях наук, ему известных. Похвалив знания его, я возразил ему, что нимало в том не сомневаюсь, но прошу объяснения первых его речей.

– Что же, – отвечал Михайлов, – я ведь знаю ваших офицеров, потому что служил с ними в Молдавии; я сам свидетель того, как одному полковнику вашего корпуса однажды приказали выстроить мост, и так как он сего не умел сделать, то принуждены были командировать к постройке моста пехотного поручика; посудите сами, если у вас полковники такие ослы, то почему колонновожатым не быть хуже?

Пощечиной отвечал я Михайлову при всех. Не выражу того, что я в эту минуту чувствовал. Я был уверен в правоте своего дела, но взволнован и находился в таком необоронительном положении, что Михайлов мог меня тут же ударить. Сужу теперь, что при всякой ссоре надобно иметь левую руку более в готовности, чем правую.

– Что вы сделали? – вскрикнул центра тяжести лишенный Михайлов, схватив меня за руку.

– Свой долг, – отвечал я ему, – и готов сейчас дать вам удовлетворение, какое вам будет угодно. Пойдемте!

– Знаете ли вы, что я сделаю? – сказал Михайлов. – Я сейчас пожалуюсь Николаю Семеновичу. Вы были свидетелем, господин Гамалей; благоволите утвердить, а вы господин Муравьев щенок!

– Ах, – вскричал я, – подлец, тебе и этого мало; так постой же!

Я вздрогнул от бешенства и побежал в другую комнату искать по углам какой-нибудь трости, чтоб порядком прибить Михайлова. Пока я метался, Михайлов, в сопровождении Гамалея, сам рассказал дамам свое несчастие, ссылаясь на свидетеля. К счастью, Николай Семенович в то время сидел в кабинете, откуда он вышел в гостиную тогда, как меня уже не было в доме. Суматоха сделалась страшная: гости стали разъезжаться прежде времени. Фигнер сидел в углу со своею невестой, когда бесчестие брата ее до него дошло. Он прибежал ко мне и, схватив меня за руку, просил скорее удалиться. На то время подошел брат Александр, который, увидев меня в жарком разговоре, успокоил нас и вместе с Фигнером уговорил меня уехать. На крыльце сопровождали меня выражения удовольствия слуг, которым Михайлов сам уже успел рассказать свое приключение. Они не любили его и радовались случившемуся с ним.

Смущенный возвратился я домой и рассказал отцу о случившемся. Он встревожился, побранил меня за запальчивость, но сказал, что я должен непременно драться, на что я охотно согласился. На другой день приехал Корсаков и объявил о намерении Фигнера вступиться за честь Михайлова. Я на все был согласен; но батюшка, опасаясь, чтобы я чрез поединок не пострадал по службе, пригласил письмом Фигнера к нему приехать. Поговорив с ним наедине, он позвал меня и сказал:

---

[7] Николай Самойлович Фигнер – брат знаменитого партизана в Отечественную войну.

– Николай, ты должен извиниться, я этого требую. Николай Самойлович будет посредником.

Нехотя принужден был я повиноваться, и меня повезли к Михайлову.

– Александр Михайлович, – сказал я ему, – сожалею, что слишком погорячился третьего дня; но сознайтесь, что вы первые были неправы.

– Конечно, я был неправ, – отвечал он, – но и вы не должны были… Неугодно ли чаю?

– Благодарю вас, – сказал я, – сейчас пил дома, прощайте, – вышел от него и уехал.

Фигнер, провожая меня, уверял в чувствах своего уважения ко мне, а я довольным возвратился домой. Бедный Михайлов, который за несколько дней перед своей бедой только что приехал в Петербург, чтобы повеселиться, принужден был возвратиться в деревню. Я же был осужден не бывать больше в доме Николая Семеновича, что продолжалось более месяца. Старик был непреклонен к просьбам моих родственников; наконец, по ходатайству тетки Катерины Сергеевны, был я снова им принят.

– Mon cher ami, – сказал он, обнимая меня, – quand on veut faire la paix, il ne faut plus parler du passé, que tout soit oublié.[8]

Так все и кончилось. Впоследствии товарищи, узнав о случившемся, неоднократно благодарили меня за то, что я вступился за доброе имя корпуса, в коем они служили.

Вскоре по определении меня на службу батюшка уехал обратно в Москву. Князь Волконский дал мне занятие в своей канцелярии, и, спустя месяц, назначен был мне экзамен для производства в офицеры. Мною остались очень довольны и поставили в списке к производству вторым; но, к несчастию моему, за два дня перед тем учредили у нас прапорщиков, и так вместо подпоручиков вышли мы прапорщиками. Впрочем, радость надеть офицерский мундир изгладила сию небольшую досаду. Я был произведен 1811 года апреля 14-го дня, в день рождения брата Сергея.

Однажды, как я сидел за работой, князь подошел ко мне.

– Муравьев, – сказал он, – Бетанкур уверяет, что в его корпусе последний юнкер загоняет в математике лучшего из наших новопроизведенных. Тебе заступиться за честь вашу; я тебе завтра пришлю билет, а послезавтра поедем на экзамен в корпус инженеров путей сообщения. Постарайся загонять их хорошенько, там и наши будут.

В угождение князю я занялся эти два дня, затвердил самые сбивчивые задачи и, приготовив себя таким образом, я прибыл на экзамен. Меня приняли приветливо, но ученики смотрели на меня как на злодея, явившегося, чтоб воспрепятствовать их производству в офицеры. Начали с самых слабых. Условленные между профессорами и учениками вопросы и ответы спасли их от неудачи. Явились и сильные. Бетанкур, привстав, пригласил меня экзаменовать. Я сделал несколько вопросов, но удачные ответы сокрушали меня. Князь Волконский мне глазами мигал и морщился; наконец, в удовольствие ему, я задал следующее: извлечь $\sqrt[m]{x-1}$. Этой пустой задачей мне наконец удалось сбить бедного кандидата, который смешался. Сам Висковатов, удивленный замешательством ученика своего, встал и не умел сего решить. Князь восторжествовал. Предвидя скорое решение задачи моей, я поспешил сам указать решение и тем не дал времени раздосадованным противникам затруднить меня усложненными формулами; пользуясь своим званием экзаменатора, я не переставал вопрошать и таким образом избавился от заготовленной мне грозы, ибо, в сущности, инженеры более нашего смыслили в математике. Князь, Бетанкур и все свидетели поздравили меня с успехом, а я, похвалив учеников, более меня сведущих, не остался лишнего времени и поспешил домой.

[8] Мой дорогой друг, если хочешь помириться, не надо говорить о прошлом, все должно быть забыто (*фр.*). – *Здесь и далее пер. с фр. О. Андреевой*.

С тех пор дух соперничества поселился между нашими офицерами и инженерами путей сообщения, и они получили от нас название болотников. Я не сомневаюсь, однако же, что они превзошли нас в знании математики.

В то время чертежная наша и канцелярия помещались в Михайловском дворце, где также завелись математические классы. Подполковник Шефлер преподавал колонновожатым геометрию. Он ее твердо знал и хорошо преподавал; но видно, что занятием этим тяготился, ибо он с моего согласия просил князя поручить мне сей класс, что и сбылось. Отобрав восемь из лучших колонновожатых, я, с согласия Шефлера, пригласил их ходить каждый день учиться ко мне на дом. Я жил тогда под Смольным монастырем на квартире дяди Мордвинова, который лето проводил в деревне. Двое из учащихся у меня колонновожатых подлинно успели в математике. Уроки сии занимали меня.

В то время как я преподавал, заводилась у нас другая школа. Князь Волконский, при всем властолюбии своем и благонамеренности, начал подчиняться влиянию приверженцев, коих достоинства он не всегда умел различить или оценить. Капитан свиты Его Величества и, как говорят, самозванец, граф Фалькланд, беглый из французской службы, получил тогда доверие князя по части преподавания математики. Трудно разобрать этого человека. Нельзя было ему отказать в больших сведениях по математике, при том он говорил ясно; но страсть его была учить, – и чему в особенности? Нумерации! Полагаю, что разум его был несколько помрачен от усиленных занятий; страдая сильной чахоткой, он не переставал кричать и толковать начала арифметики по самый конец своей жизни. Сначала он меня полюбил и, чувствуя приближающуюся смерть, хотел сделать меня наследником своих бумаг и сочинений; но впоследствии я не мог не видеть оскорбления подчиненных мне колонновожатых, которых обязали также ходить к Фалькланду. Я поссорился с ним и чрез то избежал труда разбирать стопы бумаги, измаранной математическими формулами, до коих, в сущности, я небольшой охотник.

Фалькланд уверил князя, что никто из новопроизведенных офицеров не постигает тайны нумерации. Князь тщетно старался также нас в том уверить; но как голос его был сильнее истины, то и стали мы по приказанию его ходить каждый день после обеда к графу-самозванцу, где в течение двух месяцев практиковались в счете и четырех правилах арифметики по шестеричной, восьмеричной и другим системам нумераций. Однажды вздумалось нам побунтовать. По общему согласию, на лекции, Дурново прочитал Фалькланду речь от имени всех товарищей. Все встали со своих мест и сообща старались внушить Фалькланду, что, дорожа своим временем, мы не находим нужным тратить его понапрасну на такие пустяки, как изучение нумерации, и, наконец, что офицерский чин избавляет нас от несносной скуки к нему на лекции ходить; но увы! Фалькланд был хитрее нас: прокашлявши с четверть часа и выслушав нас с улыбкой, он согласился в правоте нашего суждения, но ссылался на волю князя, которую обязан был исполнить. Впрочем, он, вопреки обыкновению своему, долго любезничал с нами; отпуская же нас, каждому пожал руку и расстался с нами по-приятельски. Мы после узнали, что он в это время ожидал к себе князя, который, однако, не приезжал. На другой день князь нас к себе собрал и разразился грозой на несчастного Дурново. Щербинин и я стали было говорить, но нам велели молчать, и мы замолкли. Приказали нам снова ходить учиться, и мы ходили, пока совершенно расстроенное здоровье Фалькланда не позволило ему больше преподавать таблицу умножения. Признаюсь, мы очень опасались его выздоровления, и каждый день имели верные сведения о состоянии его здоровья. Он вскоре и умер от чахотки.

Я жил близ Смольного монастыря, в так называемой Подгорной, на квартире у дяди Мордвинова. Связи и знакомства мои не были обширны. Особенной дружбы ни с кем не имел, в приятельском же кругу бывали у меня сослуживцы Колычев и Михайла Александрович Ермолов; часто видался я также с Матвеем Муравьевым-Апостолом, служившим тогда юнкером в Семеновском полку. Колычев принадлежал к числу тех молодых людей, которых называют отчаянными головами; ему было 23 года, он имел сведения и был верный товарищ. Он сна-

чала имел неудовольствия по службе, потому что поссорился с начальником; впоследствии, в кампании 1812 г., он пристал к партизанам и по отличию достиг чина ротмистра в Александрийском гусарском полку. Ермолов был мне ровесник. Он был хорошо воспитан, скромен и с познаниями. Товарищи любили его. Он перешел от нас в гвардейский Егерский полк, где также приобрел себе общее расположение сослуживцев и начальников. В 1813 г. Ермолов отличился храбростью в сражении под Кульмом, где был жестоко ранен. Матвея Муравьева-Апостола я очень любил. Он благородный малый и прекрасного нрава; жаль только, что он мало учился, через что природные дарования его остаются втуне; хотя он характера легкого и склонен следовать примеру других, он может заблуждаться, но правила чести его безукоризненны. Он приходил ко мне делить свое горе, ибо имел неудовольствие от своего отца, который не умел ценить счастливого нрава Матвея. С братом его Сергеем я не был так близок, как с ним.

Я жил вместе с братом Александром и двоюродным братом Мордвиновым. Случалось нам ссориться, но доброе согласие от того не расстраивалось. Мы получали от отца по 1000 рублей ассигнациями в год. Соображаясь с сими средствами, мы не могли роскошно жить. Было даже одно время, что я, во избежание долга, в течение двух недель питался только подожженным на жирной сковороде картофелем. Матвей часто приходил разделять мою трапезу, нимало не гнушаясь ее скудостью. Помню, как я в это голодное время пошел однажды на охоту на Охту и застрелил дикую утку, которую принес домой и съел с особенным наслаждением. Изредка навещал нас по вечерам бывший экзаменатор мой, добрый Шефлер. По воскресеньям бывал я на вечерах у Н. С. Мордвинова, где танцевали. Страсть моя к дочери его возрастала; я навестил адмирала однажды и на мызе, в Парголове, где он проводил часть лета с семейством. Более я ни у кого не бывал и проводил время дома. Вне служебных занятий вел я жизнь праздную, вовлекшую меня в школьные шалости, которые, может быть, несколько и повредили мне.

Первая попавшаяся мне книга была Compere Mathieu.[9] Несколько раз прочитал я этот роман, который мне очень понравился, но разрушил все мои религиозные понятия и чувства; однако книга сия не заменила разрушенного новыми правилами, и потому она только спутала понятия мои, не возродив ничего нового. Мне тогда было 16 лет. За этой книгой попалась мне в руки «Новая Елоиза» Руссо. Чувствительность, выражающаяся в сих письмах, растрогала мое сердце, по природе впечатлительное. Разметанные первым чтением мысли мои начали приходить в порядок. Несколько раз прочитал я с большим вниманием «Новую Елоизу», и страсть моя к Н. Н. усилилась. Думаю, что начало это способствовало к развитию во мне нелюдимости, к которой я от природы склонен. Я тогда уже находил удовольствие в уединении, ходил по вечерам задумываться на Быки,[10] где просиживал до глубокой ночи, ходил на охоту и наслаждался своим одиночеством, когда лежал среди леса, растянувшись на траве вдали от свидетелей, коих, казалось, избегали и мысли мои. Предаваясь воображению, я сравнивал положение свое с положеньем независимого человека. Слог Жан-Жака увлекал меня, и я поверил всему, что он говорит. Не менее того, чтение Руссо отчасти образовало мои нравственные наклонности и обратило их к добру; но со времени чтения сего я потерял всякую охоту к службе, получил отвращение к занятиям, предался созерцательности и обленился. Я перемогал свою лень при исполнении обязанностей и стал уже помышлять об отставке. Я и теперь ленив, но не для того, однако же, сознаюсь в том, чтобы таким признанием пред собою скрыть множество других недостатков, ибо в лености всего легче сознаться.

Мне очень желалось видеться с отцом и показаться в Москве в мундире. Получив отпуск на 28 дней, я отправился и был хорошо принят в родительском доме, где прежние знакомые, обращавшиеся со мною когда-то как с ребенком или учащимся, ныне с любопытством расспрашивали меня о Петербурге и службе. Мне особенно льстила встреча со старыми учителями, и

[9] «Кум Матье, или Превратности человеческого ума» А.-Ж. Дюлорана. *(Примеч. ред.)*

[10] Быками называется выстроенная на Неве маленькая пристань против Таврического дворца.

не верилось, что я не обязан им более повиновением. Мне странно казалось и то, что власть родительская тяготела на офицере как бы слабее, чем на ученике. Но вместе с тем я узнал, что родительский гнев в некотором возрасте чувствительнее, нежели в малолетстве. Гнев этот, возбужденный вмешательством моим в дела, не подлежавшие моему суждению, был, однако же, непродолжительный и остался без неприятных последствий. Доброе согласие между нами не нарушилось.

В то время как отец возил меня для определения на службу в Петербург, брат мой Михайло, оставшийся в Москве и сделавший уже замечательные успехи в математике, пригласил учителей своих, или, вернее сказать, соучащихся с ним, университетских профессоров, составить математическое общество, коего он назвал себя директором. Цель общества состояла в усовершенствовании науки. По возвращении батюшки в Москву предложили ему быть президентом. Сочинивши устав, просили князя Волконского принять звание члена общества, в которое были приняты и другие лица, в том числе и мы, два старших брата. Общество сие, постепенно развиваясь, превратилось в училище. Несколько московских молодых людей, познакомившись с батюшкой, просили его преподавать военные науки, на что он согласился. Брат Михайло занялся преподаванием математики, профессора же каждый по своей части. Когда я приехал в Москву, то застал уже человек десять учеников. Батюшке пожалован был государем перстень с изображением вензеля Его Величества. В числе учившихся были двое Колошиных, Михайло и Петр (третий брат их Павел был еще ребенком). Старшему было двадцать лет. Скромность его и приличие в обращении привлекали меня к нему; мне казалось, что его тревожила скрытая грусть и что он искал друга, которому мог бы поручить свои думы. Также и я надеялся получить его доверенность. Мы взаимно объяснились в сердечных наших тайнах, после чего подружились с тем теплым увлечением души, какое дано нам ощущать только в молодых летах.

* * *

(Писано в Тифлисе, в октябре 1817 года)

Мне оставалось только три дня жить в Москве до истечения отпуска, и я собирался уже выехать в Петербург; но у батюшки готовился экзамен, и ему хотелось, чтобы я был свидетелем, дабы мог лично доложить князю Волконскому об успехах его учеников, почему и поручил мне все устроить к вечеру. Экзамен состоялся в присутствии многих профессоров университета и был удачен. М. Колошин в особенности отличился своими познаниями. На другой день экзамена я выехал из Москвы; батюшка провожал меня за четырнадцать верст от города и, повидимому, старался ласками своими изгладить впечатление от небольшой размолвки, между нами случившейся.

По возвращении в Петербург я застал уже Главный штаб переведенным из Михайловского замка в Кушелева дом, где изготовлялось помещение для колонновожатых, их классов и несколько квартир для офицеров.

По приведении всего этого в окончательное устройство переселили туда 24 человека колонновожатых. Директором сего нового училища был назначен полковник Хатов, помощником его подполковник Шефлер, а дежурными надзирателями: поручик Окунев, подпоручик Дьяконов и я. Я переехал на новую свою квартиру и вступил в должность, которая состояла в том, чтобы смотреть за поведением колонновожатых, живущих в доме, ежедневно осматривать одежду у всех собиравшихся на лекции 60 колонновожатых прежде и после классов, в классах блюсти за порядком и тишиной; колонновожатых, живущих в доме, водить вместе к обеду в общую застольную, увольнять по билетам со двора, ввечеру подавать рапорт о происшедшем

помощнику, ночью делать рунды по комнатам, поверять дневальных и делать три раза в день перекличку. Кроме того, должно было колонновожатых водить на все парады, где они выстраивались по ранжиру.

Между колонновожатыми находилось много таких, которые уже пять лет в службе числились, иным было уже под тридцать лет от роду. Неминуемо было, что многие из них на меня дулись, ибо мне было только семнадцать лет и несколько месяцев службы. Я был строг в исполнении своих обязанностей и не пропускал ни одной вины без замечания. Поэтому не полагаю, чтобы все колонновожатые меня полюбили; но повиновение сохранилось.

Кроме сей должности мне еще поручили экзаменовать в математике колонновожатых и вновь определявшихся к нам на службу; на мое попечение возложили также библиотеку, которую только что начинали устраивать: собрано было пожертвований около 2000 книг, которые надобно было привести в порядок и сделать им каталог. Мне тоже было поручено преподавание математики в 1-м классе, состоявшем из 32 колонновожатых, в числе коих некоторые более меня знали, другие же ленились.

Князь требовал порядка и тишины в классе. Из осторожности я мало касался в классе сильнейших меня в науке, дабы они не могли заметить своего преимущества надо мною; старикам же, которые ничего не знали и, по-видимому, никогда ничему бы не научились, я снисходил. Уважение, которое я им при других колонновожатых оказывал, расположило их ко мне, и они соблюдали должное повиновение; таким образом, сохранился между всеми постоянный порядок. Но порядок нарушался в дежурство других двух офицеров, при коих колонновожатые делали большие шалости и смеялись над ними.

Некоторые из колонновожатых пожелали учиться у меня на квартире. Первым назвался Мейндорф 2-й, прозванный Рыжим; он у меня учился фортификации, которую я с ним прошел от начала до конца по Noizet de St. Paul. Этот Мейндорф был весьма сведущ во всех частях и человек благовоспитанный; я с ним коротко познакомился. Не видавшись с ним после того несколько лет, я встретился с ним недавно в Петербурге, по случаю перевода его в Гвардейский генеральный штаб уже штабс-капитаном. Но как он изменился! Старое близкое знакомство наше не возобновилось, связи и служба развели нас в разные концы империи, и мы редко когда после того встречались.

Многие из колонновожатых ходили учиться к Хатову и Шефлеру. Последний брал по 5 рублей за урок, но старался и на экзаменах был беспристрастен; первый же до такого совершенства довел этот порядок, что колонновожатые приносили ему вперед за тридцать уроков деньги 300 рублей и не заходили к нему более четырех раз поучиться, на пятый же являлись к экзамену, где он им писал самые лучшие аттестации. Порядок этот до сей поры еще существует на посрамление чести нашего корпуса. Хатов человек семейный и бедный, и сим способом единственно живет; князь же, допускавший сие, не знает о вошедших в обычай злоупотреблениях. Когда узнали, что мнение мое влиятельно на экзаменах и что я давал частные уроки, некоторые из колонновожатых пожелали и у меня учиться. Первый явился какой-то Harbouer, длинный, высокий; он был племянник нашего лекаря и желал определиться в службу. Снисходя его просьбе, я назначил ему прийти на другой день и дал ему первый урок; но как я удивился, когда он, вынув из кармана билет, положил его на стол! Я схватил билет, изорвал его и просил подателя более ко мне на глаза не казаться. После этого приходил еще колонновожатый Бибиков, с коим родственник мой Муромцев просил меня заняться; но как я видел, что он ленился, то я ему после нескольких уроков отказал. Двое из колонновожатых, Пейкер и Брадке, у меня часто бывали, я с ними также занимался; они были весьма молоды.

Служба моя была трудная: я вставал в 6 часов утра, всякий день проводил утро в классе до трех часов, а после обеда занимался до вечера в библиотеке. В третий день доставалось мне дежурство, и тогда уже целый день не оставлял я шарфа и по ночам ходил рундом. Случилось однажды, что адъютант князя заболел, и я тогда целую неделю отправлял его должность, т. е.

ходил за приказанием в комендантскую канцелярию; таким образом, я был целый день занят. Князь Волконский полюбил меня и оказывал мне доверие.

Чахоточный граф Фалькланд, о коем прежде говорено, стал поправляться в своем здоровье. Князь к нему езжал и принял от него убеждение, что должно преподавать нумерацию и в наших классах. В ожидании совершенного выздоровления Фалькланда мне велено было пройти теорию логарифмов и поверить логарифмические таблицы с учащимися. Прискорбно было прервать начальный курс, чтобы заняться таким скучным и бесполезным делом, но я должен был повиноваться.

Так как злосчастный для нас Фалькланд стал снова хворать, то я каждый день ожидал известия о его смерти, но, к удивлению моему, однажды, как я поверял в классе таблицы, он внезапно показался в дверях залы, напоминая появлением своим и видом мертвеца Жуковского в балладе «Людмила». Вздрогнули сердца учителя и учеников! Фалькланд сел подле меня и просил продолжать урок; когда же я его кончил, он начал толковать нумерацию по-французски. Большая часть слушателей, не зная языка, не понимала его, другая смеялась. Фалькланд задыхался, все встали со своих мест и окружили его при доске; ближайшие прикидывались внимательными, но задние резвились. Всячески старался я удержать тишину, но без успеха; внутренне же я радовался беспорядку, произведенному появлением нового учителя в моем классе. Многие из колонновожатых надеялись, что подобные сцены будут ежедневно возобновляться в классах, но ошиблись. Фалькланд вынул из кармана бумагу, на которой у него были заготовлены задачи, состоящие в извлечениях корней из многоциферных чисел, написанных по разным: семеричным, восьмеричным и прочим счетам, при условленном количестве знаков. Он роздал задачи сии колонновожатым по рукам, приказав им принести их разрешенными к следующему дню. Некоторые решили их, другие же смеялись и не хотели ими заняться.

На другой день Фалькланд опять явился в класс и, отобрав тех, которые решили задачи, посадил их на первые места. Он хотел продолжать урок, накануне данный, но почти никто из слушателей по-французски не знал; некоторые стали уходить. Если бы в эту минуту вошел князь, то, конечно, я остался бы виноватым из-за беспорядков, Фалькланд же остался бы правым. Видя, что ему нечего делать, он начал рассказывать разные приключения своей жизни, много смеялся и занял всех до трех часов. Все хохотали, лазили по скамейкам.

Помощник директора Шефлер преподавал в то время во втором классе и, услышав шум, пришел, чтобы унять его; все стихло, когда он взошел; но Фалькланд, встав мертвецом и подойдя тихим шагом к Шефлеру, со свойственной французу дерзостью стал рукою гладить его по лысине, называя его mon petit caporal.[11] Бедный Шефлер потерялся от такого нахальства и не нашел ничего лучшего, как понюхать табаку; потом, пожав Фалькланду руку, пожелал ему доброго утра в самых учтивых выражениях, пока француз продолжал гладить его по плеши, насмешливо оглядываясь на присутствующих. Я был раздосадован и вышел. Шефлер последовал за мною, бранясь про себя на Фалькланда, который оставался в классе еще с полчаса, толковал и, наконец, ушел.

Он на другой же день опять занемог. В начале 1812 года зимой Фалькланд умер. Брат Александр был наряжен на похороны его с 20 колонновожатыми. Все были рады убедиться в том, что Фалькланда не стало и что он больше не будет нас мучить. Я опять начал преподавать по-старому и кончил уже тригонометрию, когда явилось новое лицо.

Кто не знал Преображенского полка капитана Рахманова, издателя Военного журнала и убитого под Лейпцигом уже в чине полковника? Он был умен, остер в речах и обладал большими сведениями, особенно в математике, но вместе с тем имел многие странности. Ему не нравилась фронтовая служба, а, кажется, хотелось сделаться начальником нового училища. Зная недостаток князя Волконского в образовании, между тем и стремление его к усовершен-

[11] Мой маленький капрал (*фр.*)

ствованию Генерального штаба, Рахманов воспользовался слабостью князя, коротко познакомился с ним и стал с ним ездить в классы. Он уверил князя, что надобно преподавать в 1-м классе дифференциальное исчисление, а не тригонометрию. Князь слышал, что дифференциалы прекрасная вещь, но не знал, какая это наука. Согласившись с предположениями Рахманова, он дал ему право выбрать из моего класса лучших учеников и преподавать им дифференциальное исчисление, что для меня было крайне обидно: одного прислали учить нумерацию, а теперь другого – дифференциалам, отбивая у меня лучших учеников; но я должен был повиноваться, и Рахманов, проэкзаменовав и отобрав себе семерых любимцев моих, начал им преподавать, но безответственно за беспорядки, могущие случиться в классе. Рахманов приходил учить без определенного времени, а лишь когда ему вздумается, отчего классы и часы переметались, завелись шалости, и я не мог более продолжать начатый мною курс с успехом. Однажды, будучи дежурным, я записал на доске имя колонновожатого Козлова, который стал слишком забываться. Рахманову не понравилось, что я управлялся во время его преподавания, и он стер с доски имя Козлова, говоря, что ему места мало для писания формулы. Я записал имя виновного на другой доске, но Рахманов опять стер его, сказав, чтобы я более не делал сего. Я в третий раз записал Козлова, сказав Рахманову, что он не имеет права мешаться в мою должность; но он в третий раз стер имя Козлова. Тогда, сказав, что после того ему останется отвечать пред князем за беспорядок, я вышел из класса и передал все дело, как случилось, полковнику Хатову. Хатов расхрабрился.

– Вот я его, – вскрикнул он, прибежал в класс; но при виде грозного, устремленного на него взгляда Рахманова он сначала не смел прервать его занятий, наконец, решился заметить Рахманову неприличность в его поступках, но был разбит в пух и преследуем. Хатов пожаловался князю, и с тех пор Рахманову поставили особую черную доску в библиотеке, где он весьма лениво занимался со своими учениками; мне же возвратили мой 1-й класс, в котором оставалось еще 25 учеников.

Вскоре Шефлер отказался от 2-го класса и сдал его старшему моему брату Александру, который им занимался и между тем дежурил с нами поочередно.

У меня отличались поведением и науками колонновожатые Мейндорф 1-й, Мейндорф 2-й, Глазов, Даненберг, Фаленберг, Цветков, Лукаш, Брадке,[12] Дитмар, Бутовский, граф Апраксин и еще некоторые другие. Первый из них теперь служит в Конной гвардии,[13] о втором я выше упоминал. Глазов служил капитаном в Гвардейском генеральном штабе, но стал пить и переведен тем же чином в пехоту; Даненберг, Фаленберг, Цветков и Дитмар поступили к нам по экзамену из Лесного департамента; первый из них впоследствии служил со мной при великом князе Константине Павловиче и обогнал меня чином.[14] Все четверо существовали одним жалованьем. Они терпели нужду, но всегда были исправны. Лукаш человек хороший и добрый, в настоящее время штабс-капитан в Гвардейском генеральном штабе.[15] Граф Апраксин в 1812 году служил с Мейндорфом 1-м при князе Голицыне, и оба перешли от нас в Конную гвардию. Бывший родственник и друг Апраксина, граф Строганов, также был у меня колонновожатым: малый добрый, но простой, служил при генерале Ланском и убит в сражении при Краоне.

---

[12] Брадке, один из лучших воспитанников, отличался постоянным прилежанием и благоразумием. В Польскую войну 1831 года он исправлял должность начальника штаба в корпусе Крейца. Потом перешел в гражданскую службу, был сенатором, попечителем Киевского университета и начальником учебного округа в Остзейских провинциях; всегда пользовался доверием и уважением своего начальства.

[13] Ныне генерал-адъютант и начальник коннозаводства в империи.

[14] В 1833 г. командовал у меня в 5-м корпусе 15-й пехотной дивизией; потом был корпусным командиром, а в 1854 г. начальствовал войсками в несчастном сражении в Крыму под Инкерманом.

[15] До сих пор сохранилась между нами обоюдная дружба молодых лет. В Польскую войну 1831 года он командовал под начальством моим Луцким гренадерским полком и получил на приступе в Варшаве Георгия в петлицу. Во время наместничества моего на Кавказе был назначен губернатором в Тифлисе. Ныне сенатором в Москве.

Между ленивыми колонновожатыми отличались у меня Берг и Кирьяков. Первый был сыном одного генерала по квартирмейстерской части, который, войдя однажды в класс, напал на меня за то, что я сына его посадил ниже других, и говорил, что не в знании логарифмов заключается достоинство хорошего офицера. Я защищался сколько мог, но, наконец, вынужден был объяснить генералу, что, по обязанности быть беспристрастным, не могу пересадить сына его выше прилежных учеников, и старый Берг успокоился. Кирьяков – малороссиянин; определился в службу летом, тогда как я уже был экзаменатором, но жил еще близ Смольного монастыря.

Отец Кирьякова, которого имени я прежде никогда не слышал, привез ко мне сына своего с товарищем его Бутовским, прося меня о принятии обоих в службу. Проэкзаменовав их в присутствии его, я нашел в них хорошие способности и некоторые познания, почему сказал старику, что с удовольствием дам им несколько уроков, дабы приготовить их к настоящему экзамену. Не знаю, как он понял мои слова, только на другой день вместо учеников получил я благодарственное письмо, в котором он просил меня представить молодых людей князю Волконскому. Но как я удивился, когда, поворотив лист, нашел в письме 200 рублей. В сердцах написал я ему грозное письмо с возвращением денег и запрещением когда-либо переступать ногой за порог моей квартиры; заключил же письмо изложением мнения моего, что лета не придали ему опытности в распознавании людей, с которыми ему доводилось иметь дело. С тех пор я не слышал более ни слова о старике Кирьякове. Однако же сын его и Бутовский были приняты на службу. Первый из них был часто замечаем в шалостях, за которые я с него нередко взыскивал. Впоследствии он был переведен в какой-то драгунский полк.

Еще было у меня два колонновожатых, замечательных по сведениям их в математике: князья Андрей и Михаил Голицыны. Воспитывались и учились они в Париже, отчего в обращении своем были более похожи на французов, чем на русских. Один из них служит теперь поручиком, а другой штабс-капитаном; первый был жестоко ранен под Бородиным, а другой легко под Люценом.

В то время терпел я много нужды в жизни, ибо тогдашнее жалованье мое было очень малое. Все имение батюшки состояло тогда из 140 душ, а нас было шестеро: пять сыновей и одна дочь.

До 1801 года мы жили в Петербурге; но отчим отца моего, князь Александр Васильевич Урусов, лишившись дочери своей, которая была за бароном Строгановым, и желая переселиться в Москву, пригласил к себе батюшку с семейством; нас тогда было только три сына, из коих старшему Александру 8 лет. Князю Урусову было 70 лет; близких к нему никого не оставалось; присоединением к себе семейства нашего он, по-видимому, заботился о призрении своем в старости. В отце же моем он приобрел хорошего себе помощника для управления своими имением и делами. Родители мои не имели достаточно средств, чтобы дать нам должное воспитание, почему и согласились принять предлагаемую им обузу и поступить в истинную кабалу к князю Урусову. Итак, мы перебрались в Москву, где жили в доме у князя, летом же ездили с ним в деревню его Александровское (иначе Долголядье). Сим только способом родители мои могли употребить свои доходы, состоявшие из 5000 рублей, на наше воспитание, крайне умеряя себя во всех своих издержках; но и при такой умеренности они не могли избежать долгов, от чего доход их уменьшился до 4000 рублей.

Матушка скончалась в 1809 году. Князь, которому она заменяла покойную дочь, любил ее и был ее смертью очень огорчен. Он сделался до крайности упрямым, вспыльчивым и даже грубым и часто сердился на отца моего, но, чувствуя нужду в нем, удерживался; батюшка же не умел с ним обойтись, как бывало матушка, и потому несколько раз думал оставить его. Князь Урусов родился в бедности, составил все свое состояние картами и нажил несколько тысяч душ (говорят, однако же, что он честно играл). Он служил в военной службе и вышел в отставку в генерал-майорском чине. У него было много родственников, по большей части

люди бедные и почти все без особенного образования. Родственники князя навещали его и надоедали ему. Он часто бранил их и даже ругал при всех, ибо видел, с каким они нетерпением ожидали смерти его, чтобы завладеть имением, и потому он их не любил, а они нас также не любили. Сказывали, что наш князь Урусов, однажды поссорившись с братом своим Петром, 30 лет с ним не виделся, хотя оба жили в одном городе. Счастье избаловало старика, и он часто бывал несносен.

Так как имение князя было благоприобретенное, то он имел право располагать им по произволу. Князь Урусов был очень скуп, но при этом иногда помогал большими суммами своим родственникам, наперед побранив их порядочно: нам же он никогда ничего не давал. Родители мои, хотя и нуждались, но никогда не просили у него денег. Однажды случилось, что батюшка занял у него 2000 рублей, и он не имел покоя от старика, пока не возвратил их, что принужден был сделать через пять дней после займа. При жизни еще матушки князь сделал свое духовное завещание, в котором назначил нам часть своего имения. Надеясь на сие, отец мой сделал после смерти матушки небольшие долги, что его еще больше расстроило; посему для него было очень тягостно давать каждому из нас по тысяче рублей в год.

Таким средствам соответствовал и род жизни моей. Мундиры мои, эполеты, приборы были весьма бедны; когда я еще на своей квартире жил, мало в комнате топили; кушанье мое вместе со слугой стоило 25 копеек в сутки; щи хлебал деревянной ложкой, чаю не было, мебель была старая и поломанная, шинель служила покрывалом и халатом, а часто заменяла и дрова. Так жить, конечно, было грустно, но тут я впервые научился умерять себя и переносить нужду.

Обращаюсь к событиям старого времени, когда бывший начальник Черноморского флота, в третьем колене матушке родственник, адмирал Мордвинов в 1807 году приехал со своим семейством из Крыма в Москву. В то время, по случаю войны с Францией, формировалось земское войско, и Мордвинов был избран в начальники ополчения Московской губернии. Батюшка, отставной подполковник, был назначен к нему старшим адъютантом. Как адмирал немного разумел в военном управлении, то всем делом у него распоряжался мой отец. На лето адмирал поместился с семейством и своей главной квартирой в селе Волнителе или Полуектове, принадлежащем князю Барятинскому и находящемся в 20 верстах от села Александровского князя Урусова, где мы жили. Мы ездили тогда к адмиралу, и он бывал у нас в деревне. 14 июля, в день моего рождения, он приехал к нам с семейством, и мне понравилась меньшая дочь его, Наталья Николаевна, мне ровесница.[16] Мне тогда был 14-й год; я тосковал, но не смел никому поверить своей тоски, ходил по ночам в саду один и писал имя ее на деревьях. Один из сих памятников должен еще теперь существовать. Имя ее вырезано на березе на одном из островов, что на большом пруду перед домом. Однажды тайком отправился я ввечеру на остров, вопреки запрещению, кататься на плотах по пруду; я вступил в бой с сердитыми лебедями, которые тогда яйца высиживали, и согнал их своим шестом, невзирая на поднятый ими крик. Вырезав имя ее на дереве и переправившись на противоположный берег пруда под прикрытием острова, я пришел домой другой дорогой, дабы никому не дать подозрения в моем тайном заявлении. Зиму мы проводили в Москве, и каждое воскресенье нас возили танцевать к Николаю Семеновичу, где страсть моя усиливалась, что было замечено братьями, которые стали смеяться надо мною; я краснел, скрывался, но не смел возражать им, дабы не увеличить подозрения.

В 1810 году Николай Семенович уехал в Петербург с семейством; в 1811 году я определился в службу и опять увидел Наталью Николаевну. Я был очень робок, и каждое слово мое более и более обнаруживало мои думы. Старики заметили сие, заметила и она; но трудно было узнать ее тогдашнее расположение; однако же, мне казалось, что она была не совсем равнодушна.

---

[16] Теперь вдова Александра Николаевича Львова. (*Примеч. 1866 г.*)

Дед мой Николай Ерофеевич Муравьев был генерал-инспектор во времена Екатерины. Он был человек умный и ученый, женился на Анне Андреевне Волковой, коей сестра была за Александром Александровичем Саблуковым, умер в чужих краях, где в зрелом возрасте продолжал свое образование. Он был также военным губернатором в Риге и получил от тамошнего дворянства диплом на рыцарство меченосцев. Отец мой родился в Риге. По смерти Николая Ерофеевича бабка моя вышла замуж за князя Александра Васильевича Урусова, который давно ее любил; но оба они были вспыльчивого нрава и с первого же дня поссорились, после чего жили врознь, когда же встречались, то продолжали ссориться. Бабка моя скончалась, помнится мне, в 1806 году. Она была женщина умная, но строптивого нрава, находилась в тесной связи с вдовой фельдмаршала графа Захара Григорьевича Чернышова Анной Родионовной, известной своей бойкостью и причудливостью.

Отец мой был некогда записан в Измайловском полку и на 16-м году от рождения поехал учиться в Страсбургский университет, где отличался своими успехами. Пробыв четыре года в чужих краях, он возвратился в Россию и вступил в морскую службу, был в 1788 году адъютантом у принца Нассау, участвовал в нескольких морских сражениях со шведами, и когда порученная в командование его галера, избитая ядрами, пошла ко дну, он, по спасении своего экипажа, последний бросился в воду с несколькими матросами. Будучи ловким плавателем, он, при небольшой на ноге ране, полученной им от корабельного осколка, надеялся достичь одного из наших судов, но был вытащен из воды шведами, взят в плен и отвезен в Стокгольм, где оставался около года. По размене пленных его назначили капитаном фрегата. В то время он женился на матери моей, Александре Михайловне Мордвиновой, дочери генерал-инженера Михаила Ивановича Мордвинова. В царствование Павла Петровича отец мой был неожиданно переведен в Елисаветградский гусарский полк майором и находился с полком в походе в Молдавии, откуда скоро возвратился в Петербург и вышел в отставку подполковником.

Матушка скончалась в 1809 году апреля 21-го дня, на 39-м году от роду. Наружность ее соответствовала прелестным качествам души. Причиной кончины ее было то, что она хотела, вопреки совету врачей, сама кормить брата Сергея, дабы не обидеть его против старших пятерых детей своих, которых сама вскормила. Кончины ее были еще причиной заботы и труды, перенесенные, почти на исходе беременности, при постели старшего брата моего Александра, находившегося при смерти от постигшей его сильной горячки. Матушка похоронена в Москве в Девичьем монастыре; над могилой, по желанию ее, посадили любимое ею дерево акацию, которую окружили железной решеткой – памятник, отличающийся простотой среди окружающих его камней и мраморов.

До женитьбы своей отец мой имел порядочное состояние, но не сохранил оного, так что у него оставалась только Петербургская отчина сельцо Сырец, состоящее из 90 душ, в том числе и приданое матушки. Впоследствии отец жил очень скромно и, как выше сказано, издерживая доходы свои единственно на наше воспитание, сам лично занимался образованием нашим. Теперь ему от роду 50 лет, день рождения его празднуем 15 сентября. По учреждению известного корпуса колонновожатых, батюшка ныне посвящает время и труды свои на образование собравшихся около него молодых людей, которых он готовит для службы, чем заслужил общую любовь и уважение. Перед отъездом моим из Москвы он был зачислен в квартирмейстерскую часть генерал-майором. Брат мой Михайла и Петр Колошин, состоящие при нем на службе, занимают места ближайших его помощников.

Старший брат мой Александр был коротко знаком с капитаном Сулимой, который принадлежал к масонской ложе и уговорил его вступить в ложу, где он в скором времени был возведен на степень великого мастера. Поводом к такому почету был его характер и увлекательное обхождение, которое в течение всей его жизни доставляло ему доброе расположение знакомых; но при ограниченных денежных средствах он в кругу нового своего братства тратил скудные остатки своих денег за оказываемый ему почет. Не знаю, в какую именно ложу он

ездил; собрание у них были по средам, и Сулима всякий раз возвращался домой порядочно навеселе. Брат получал из ложи книги, в которых объяснялись условные масонские знаки, и он читал эти книги, когда ложился спать. Кровати наши стояли головами вместе одна против другой. Таясь от меня, он принимался за книгу, когда полагал, что я уснул, и тогда начинал читать, лежа на спине, но я не спал и, потихоньку перевернувшись на живот, смотрел к нему в книгу через изголовья кроватей. Таким образом, я вскоре выучился условным знакам масонов и удивлял брата и Сулиму знанием великой тайны их. Меня они стали приглашать в ложу, но я отказывался; между тем брат, который был еще новичком, хвалясь лестным для него доверием ребячливого братства и тайнами, в которые его посвятили, рассказывал мне отрывками об испытаниях, через которые он прошел, когда его принимали.

В числе частным образом у меня учившихся были двое дальних родственников наших Муравьевых, Артамон и Александр, которые вступили тоже в колонновожатые. Отец их Захар Матвеевич, прозванный нами сахар-медович, в самом деле сладко стлал в речах своих и постоянно рассказывал об осаде Очакова, в которой он участвовал, причем без милосердия лгал; впрочем, он был человек добрый. Артамон и Александр учились прежде в Москве, в обществе у моего отца, но оказались ленивыми, за что были прозваны у товарищей деревяшками. Оба они были склонны к шалостям и мало подавали мне надежды на успехи. Однако же впоследствии старший из них сделался внимательнее и подвинулся более меньшего в изучении математики. Он после перешел штабс-ротмистром в Кавалергардский полк и был адъютантом у графа Воронцова. Второй числился тем же чином в том же полку и служит адъютантом у фельдмаршала Барклая де Толли, с которым мать их, немка, Лизавета Карловна, находилась в родстве. Сестра их вышла замуж за генерал-интенданта армии Канкрина.

Мы часто бывали вместе, и к нам присоединился еще Матвей Муравьев-Апостол, о котором я выше упоминал. Как водится в молодые лета, мы судили о многом, и я, не ставя преграды воображению своему, возбужденному чтением Contrat Social[17] Руссо, мысленно начертывал себе всякие предположения в будущем. Думал и выдумал следующее: удалиться чрез пять лет на какой-нибудь остров, населенный дикими, взять с собою надежных товарищей, образовать жителей острова и составить новую республику, для чего товарищи мои обязывались быть мне помощниками. Сочинив и изложив на бумагу законы, я уговорил следовать со мною Артамона Муравьева, Матвея Муравьева-Апостола и двух Перовских, Льва и Василия, которые тогда определились колонновожатыми; в собрании их я прочитал законы, которые им понравились. Затем были учреждены настоящие собрания и введены условные знаки для узнавания друг друга при встрече. Положено было взяться правой рукой за шею и топнуть ногой; потом, пожав товарищу руку, подавить ему ладонь средним пальцем и взаимно произнести друг другу на ухо слово «чока». Меня избрали президентом общества, хотели сделать складчину, дабы нанять и убрать особую комнату по нашему новому обычаю; но денег на то ни у кого не оказалось. Одежда назначена была самая простая и удобная: синие шаровары, куртка и пояс с кинжалом, на груди две параллельные линии из меди в знак равенства; но и тут ни у кого денег не оказалось, посему собирались к одному из нас в мундирных сюртуках. На собраниях читались записки, составляемые каждым из членов для усовершенствования законов товарищества, которые по обсуждении утверждались всеми. Между прочим постановили, чтобы каждый из членов научился какому-нибудь ремеслу, за исключением меня, по причине возложенной на меня обязанности учредить воинскую часть и защищать владение наше против нападения соседей. Артамону назначено быть лекарем, Матвею – столяром. Вступивший к нам юнкер Конной гвардии Синявин должен был заняться флотом. Мы еще положили всем носить на шее тесемку с пятью узлами, из коих развязывать ежегодно по одному. В день пер-

[17] «Об общественном договоре» (*фр.*).

вого собрания, при развязывании последнего узла, мы должны были ехать на остров Чоку, лежащий подле Японии,[18] рекомендованный нам Синявиным и Перовским-старшим.

В то время проект наш никому не казался диким, и все занимались им как бы делом, в коем, однако же, условные знаки и одеяния всего более обращали на себя внимание. Не так быстро подвигалось составление общими силами устава общества, которого набралось не более трех писаных листов. Всем членам назначены были печати с изображением звания и ремесла каждого; но опять ни у кого денег недоставало, чтобы вырезать сии печати, на собраниях же каждый назывался своим именем, читанным наоборот с конца. Я надеялся еще включить в общество Михайлу Колошина, брата моего Михайлу и сына покойного Михаила Никитича Муравьева Никиту. Каждый из нас также представлял своих кандидатов, и Артамон Муравьев привел однажды колонновожатого Рамбурга, приличного молодого человека, служащего теперь поручиком в Гвардейском генеральном штабе; но Рамбург принадлежал уже к другому обществу, и потому он не решался вступить к нам без предварительного совещания со своим братством. Членами его общества были также офицеры Дурново, Александр Щербинин, Вильдеман, Деллингсгаузен и еще некоторые молодые офицеры наши; хотя я слышал о существовании сего общества, но не знал в точности цели оного, ибо члены, собираясь у Дурново, таились от других товарищей своих. По сей причине и Рамбургу не была вполне объявлена наша цель. Однажды, навестив меня, он обнаружил желание соединить вместе оба общества и выразил надежду, что можно будет согласовать обоюдные виды наши, о чем и говорил уже сочленам своим; но так как из числа их Вильдеман отъехал тогда в Ригу, то находил нужным обождать ответа его на посланное к нему о том письмо. Случившийся около того времени поход 1812 года расстроил все наши проекты, погрузившиеся в полное забвение.

Ребяческий бред, меня тогда занимавший, не имел никаких последствий для нас по службе, но он превратился в шутку, неприятную для моего старшего брата. Сознаваясь в том виновным, я впоследствии просил у Александра извинения в причиненном ему оскорблении. Замечая, что мы между собою перешептывались, Александр старался нас подслушать. Забравшись однажды в наше собрание, он смеялся над нами и выведывал о том, что у нас делалось. Показав товарищам своим заученные мною масонские знаки, я выделал их пред братом; ему было объявлено, что мы члены обширного общества, давно учрежденного для истребления масонов; мы пересылались между собою двусмысленными записками, написанными кровью, и перепускали их, будто по неосторожности, к Александру в руки. Старик Алексей Иванович Корсаков, дальний родственник и давнишний приятель отца моего и дяди Николая Михайловича Мордвинова, принял участие в нашей шутке. Он был некогда великим человеком между масонами, но, давно уже устранившись от ложи, передал мне оставшиеся у него масонские книги и тетради с разными знаками. Брат изумился, когда увидел драгоценности сии в наших руках. Тем более встревожился он, когда мы ему рассказали, что собираемся на Выборгской стороне в каком-то погребе, где ходим раздетыми наголо и клянемся истребить всех масонов до последнего. В газетах было известие о смерти в Вене какого-то графа Лихтенштейна (Lichtenstein), и я уверил брата, что граф этот был зарезан членами нашего общества, потому что хотел открыть нашу тайну. Кажется, что брат объявил о сем в своей ложе. Конечно, я заслуживаю всякого порицания за то, что имел жестокость воспользоваться легковерием брата и выставить его на посмеяние среди наших родных.

Едва не поссорился я однажды с Матвеем Муравьевым, которого в особенности любил. Сестра его была замужем за графом Ожаровским, управлявшим тогда в Царском Селе, с которым мы не были знакомы. Матвей, не предварив его, пригласил нас к нему ехать. Ожаровский

[18] Иначе Сахалин. По занятии реки Амур на сем острове устроились угольные копи, рыбные и звериные промыслы. Находясь в отставке, я приезжал однажды в Петербург, где виделся со старым сослуживцем моим Львом Перовским, который тогда был министром внутренних дел. Перебирая с ним на словах былое, мы вспомнили также о предположенном удалении нашем на остров Чока. Ведь проект наш, так или иначе, но совершился, заметил он, рассмеявшись. (*Примеч. 1866 г.*)

удивился внезапному появлению у себя в доме общества незнакомых ему молодых людей, принял нас очень холодно, или, лучше сказать, никак не принял, и только что не предложил нам назад ехать. Мы провели у него с полчаса в Царском Селе, не знали, что делать, и возвратились в Петербург. Дорогой я посмеялся необдуманному поступку Матвея, за что он на меня рассердился и перестал было ходить ко мне; но вскоре мы помирились…

В начале 1812 года батюшка привез в Петербург брата Михайлу для определения его на службу. Михайла имел уже отличные познания в математике, в коей был сведущее своих экзаменаторов. Его немедленно взяли в колонновожатые с поручением преподавать науку в одном из классов. По прошествии двух недель после определения на службу его назначили экзаменатором и самого произвели по экзамену в офицеры. Из числа произведенных тогда 18 человек в офицеры брат был поставлен в списке старшим, Артамон Муравьев последним; вместе с ними были произведены Апраксин, граф Строганов, Лукаш, Глазов, оба Мейндорфы, Даненберг, Фаленберг, Цветков, Дитмар, Рамбург и пр. Из не выдержавших экзамены большая часть осталась колонновожатыми; двое: Бибиков и брат Артамона, Александр Муравьев поступили в инженеры, четверо в пионеры (в том числе некий Гарт) и двое в армию. Мне поручили отвести трех названных в инженерный департамент, где их экзаменовали в присутствии генерала Опермана и удостоили офицерского чина. Как всех польстило то, что колонновожатые, признанные неспособными для служения в нашем корпусе, найдены годными для офицерского звания в инженерах и пионерах; колонновожатые же Парис и Шрам, люди пожилые, были назначены для поступления офицерами в армию; но их предварительно отдали на несколько месяцев в кадетский корпус для обучения фронтовой службе, почему и остригли их под гребенку. Парис был добрый малый; он ничего не знал, но был уверен, что лучше всех знает. Ему казалось, на взгляд, под сорок лет. Он был очень дурен собою и без зубов, но постоянно любезничал и полагал, что все женщины в него влюбляются. Его произвели в прапорщики в 11-й егерский полк, откуда, как было слышно, он поступил в адъютанты к графу Паскевичу. Он находился в каком-то родстве с директоршей госпожой Брейткопф. Парис теперь вышел в отставку и намеревается поступить на службу в Голландию, откуда он называет себя уроженцем. Шрамов было у нас двое; их называли der junge und der alte kleine Schramm;[19] оба были глупые и добрые немцы и уже по пяти лет служили колонновожатыми.

Хотя старшего из них, как сказано, тогда перевели в армию, но полковник Толь не выдал своего земляка и впоследствии перевел его офицером в квартирмейстерскую часть. У нас до князя Волконского вообще считался достойным офицером тот, который хорошо рисовал планы; Шрамы же в сем искусстве отличались от своих товарищей, но, кроме того, не имели никакого образования. Люди они были смирные, но очень плохие.

На другой день производства брата Михайлы в офицеры его назначили дежурным смотрителем над колонновожатыми и учителем математики, и он занял мое место; хотя ему тогда было только 15 лет от роду, но он пользовался уважением своих начальников и товарищей. Дежурные смотрители водили колонновожатых учиться фронтовой службе в экзерциргауз, где их ставили во фронт для командования взводами. Это делалось по окончании экзаменов до объявления высочайшим приказом производства в офицеры. Однажды, когда была моя очередь вести колонновожатых на ученье, был приведен в экзерциргауз Семеновского полка баталион, в котором находился прапорщик Чичерин, прекрасный собою и образованный молодой человек. Это случилось зимой, когда в камине экзерциргауза разводят огонь, около которого офицеры греются до начала учения. На то время огня не было. Семеновские офицеры подошли к камину, и Чичерин (с которым я немного был уже знаком), разговаривая со мною, сказал при всех, что если колонновожатых водят на ученье, то надобно бы, по крайней мере, заставить их таскать дрова в камин. Услышав сию насмешку, я смешался и не нашелся отвечать Чичерину,

[19] Молодой и старый маленькие Шраммы (*нем.*).

но по возвращении домой написал ему письмо, в котором напомнил дерзкие слова его и просил удовлетворения, с предоставлением ему выбрать к следующему дню оружие и место для поединка. Между тем я пошел к некоторым из представленных в офицеры колонновожатым и, рассказав им о случившемся, предложил, чтобы они, в случае смерти моей, по очереди дрались бы после меня с Чичериным, пока его не убьют. Товарищи благодарили меня и с удовольствием приняли мое предложение. Но вскоре я получил от Чичерина ответ, которым он извинялся на трех страницах в сказанных им словах, сознаваясь, что он необдуманно произнес их, и прося меня показать письмо его товарищам моим, перед коими он также извинялся, что я исполнил и вновь принял от товарищей выражение признательности за то, что вступился за их честь. После сего я иногда видался с Чичериным во время похода и короче познакомился с ним. Он умер в Праге от раны, полученной в сражении под Кульмом.

В феврале месяце 1812 года приехали в Петербург Колошины для поступления в службу. Они очень успешно учились в Москве у моего отца, отлично выдержали экзамен и были приняты колонновожатыми. Колошины остановились у нас и жили с нами до выступления в поход. Мать их, Мария Николаевна, упросила князя Волконского, чтобы командировали второго сына ее, Петра, на съемку в Финляндию, куда он и отправился, через что он много потерял по службе, ибо не участвовал в военных действиях 1812 года. Петр Колошин в Москве еще подружился с братом моим Михайлой. Он хорошо учился, нрав его тихий, скромный, застенчивый и романтический. Он в особенности любит литературные занятия и, будучи душой поэт, легко пишет стихи. Пребывание в Финляндии успокоило в нем первый порыв к военной службе, и он, по совету брата моего Михайлы, принял должность помощника в училище отца моего, где с успехом преподает колонновожатым математические науки, в которых он имеет обширные сведения, и пользуется общим расположением своих сослуживцев и знакомых.

Французские войска были уже на границах наших. Молодые офицеры мечтали о предстоявшей им бивачной жизни и о кочевом странствовании вне пределов столицы, помимо часто досадливых требований гарнизонной службы. Они увлекались мыслью, что в бою с неприятелем уподобятся героям древности, когда каждый мог ознаменовать себя личной храбростью. Повествования о подвигах древних рыцарей и примеры воинской доблести, почерпаемой при чтении жизни героев, действительно служат к пробуждению воинского духа между молодыми людьми. Я слышал от А. П. Ермолова, что накануне Бородинского сражения он читал с графом Кутайсовым, убитым в сем сражении, песни Фингала.[20] Понятия о святости обязанностей, конечно, обеспечивают исполнение оной, но примеры отличных подвигов украшают сию обязанность.

Гвардейские полки выступили в поход, помнится мне, в феврале месяце; многие из офицеров наших были расписаны по войскам и выехали из Петербурга. Нас трех братьев и старшего Колошина, Михайлу (который был еще колонновожатым), командировали в Вильну, в главную квартиру под начальство квартирмейстера 1-й западной армии генерал-майора Мухина. Оттуда Колошин назначался к легкой гвардейской кавалерийской дивизии, при которой был обер-квартирмейстером капитан Теннер, и коей командовал генерал-адъютант Уваров. Нам позволили прожить несколько дней в Петербурге, дабы экипироваться к походу; но многого нам не было нужно. Не имея больших денег, мы не могли иметь и порядочной обмундировки: сшили себе по шинели, по двое рейтуз, купили по седлу, по паре пистолетов и просили князя Волконского позволить нам скорее отправиться. Князь несколько дней еще задержал нас, наконец, обняв, отпустил. Мы выехали из Петербурга, помнится мне, 30 марта в среду.

Батюшка прислал нам на экипировку годовое положение вперед с небольшой прибавкой. Меня экипировал в поход расчетливый дядя мой Николай Михайлович Мордвинов. Денег потратил он немного, но зато все купил дешевое и негодное, кроме седла. Дядя называл себя

[20] Герой поэмы из «Песен Оссиана» Д. Макферсона. (*Примеч. ред.*)

знатоком по части снабжения в поход, ссылаясь на свой поход под Очаков, в который он отправлялся с двумя колясками и удивлялся, что в нынешние времена не позволяли иметь телег. Он также находил, что ныне все стало дороже, и купил нам несколько вещей совершенно ненужных, утверждая, что они его спасали во время похода. Безуспешны были наши советы не делать сих покупок, ибо деньги были присланы ему от батюшки для раздачи нам; но дядя настоял на своем и между прочими вещами купил нам чайный погребец. Показывая ларец, он рассказывал нам все выгоды его.

– Племяннички, – говорил он, – захотите вы чай пить? Вот вам чашки (синеватого цвета, кривые и величиной несколько поболее рюмки). В походе вам водки захочется, вот штоф, налейте в него эссенции; вот тут для держания чая есть и жестянка, вот и стакан; смотрите, все есть, целое хозяйство, а ящик-то весь железом обит, так что он никогда не разобьется; всему же цена только восемь рублей, а вы бы двадцать заплатили.

– Дядюшка, нам его некуда девать на вьюках.

– Молчите, племяннички; скажете мне спасибо, вспомните слова мои, вы еще в походах не бывали.

Мы благодарили дядю, взяли ящик и отправили его, с другими лишними вещами, в Сырецкую деревню, заменив его медным чайником и стаканами. У нас были в услужении молодые, наших лет, люди, подготовленные батюшкой, столь же малоопытные, как и мы, но усердные и верные: у брата Александра – Владимир; мой слуга назывался Николай Воронин, половчее и несколько постарее прочих; у брата же Михайлы был Петр Дамаскин, почти еще мальчик, но грамотный.

Часть вторая
Со времени первого выезда из Петербурга до второго в 1813 году
Первая кампания
(Писано в Тифлисе 16 ноября 1817 г.)

Отправляясь в Вильну, мы избрали себе старшиной на время дороги брата Александра как личность опытнее других в путешествиях. Ему предоставлено было назначать ночлеги, обеды, отдыхи, и мы обязывались исполнять его приказания. По предложению Александра всем были розданы должности: мне поручено было платить за всех прогоны, брату Михайле носить подорожные к смотрителям и хлопотать о лошадях, а Колошину заказывать и платить за обеды и чаи. Между слугами завели очередных, которые должны были смотреть, чтобы ямщики по ночам не дремали. Все это нас много забавляло; да иначе и быть не могло: первый еще раз на свободе, и где же? На большой дороге, где нет ни начальства, ни полиции. Не обошлось и без некоторого буйства: сворачивали в снег встречающие экипажи, били ямщиков, шумели с почтмейстерами и проч.

Приехали в город Лугу, откуда поворотили влево проселком, чтобы побывать в отцовской родовой вотчине Сырце. Мы двое старших очень обрадовались увидеть сие место, где провели ребяческий возраст: я до седьмого года от рождения, брат же до девятого. Все еще оставалось у меня в памяти после десятилетнего отсутствия, где какие картины висели, расположение мебели, часы с кукушкой и проч. Первое движение наше было рассыпаться по всем комнатам, все осмотреть, избегать лестницы и даже чердак, как будто чего-нибудь искали. Старые слуги отца обрадовались молодым господам; некоторых нашли мы поседевшими, иные представляли нам детей своих, которых мы прежде не видели, и скоро около нас собрались всякого возраста и роста мальчики, которые набивали нам трубки и дрались между собою за честь услужить барину. Старые мужики и бабы также сбежались, принося в дар кур, яйца и овощи. Сыскался между дворовыми какой-то повар, и поспел обед, состоявший из множества блюд, все куриных и яичных.

С мундиром приобретается у молодых людей как будто право своевольничать, и сундуки были отперты. Александр премудро разговаривал то с земским, то с ключником, то со старостой и слушал со вниманием рассказы их о посеве и жалобы, не понимая ничего. Ему, как старшему, и следовало принять на себя важный вид, дабы нас не сочли за детей. Между тем он с нами вместе осматривал сундуки, и мы смело друг друга уверяли, что батюшка за то не может сердиться, потому что мы в поход отправлялись. Михайла достал какой-то двухаршинный кусок красного кумача, который он долго с собою возил и, наконец, употребил, кажется, на подкладку. Я добыл себе отцовскую старую гусарскую лядунку, которая у меня весь поход в чемодане везлась; после же носил ее слуга мой, Артемий Морозов (которого я взял с собою в поход 1813 года и одел донским казаком). Александр приобрел какую-то шведскую саблю, которая от ржавчины не вынималась из ножен. Кроме того, мы еще пополнили свою походную посуду кое-какими чайниками и стаканами. Затем старый земский Спиридон Морозов, опасаясь ответственности, принес нам реестр вещам, оставленным батюшкой в деревне, прося нас сделать на нем отметки. Глядя друг на друга, мы вымарали из реестра взятые вещи и подписали его. Батюшка впоследствии несколько погневался за наше самоуправство, но тем и кончилось.

Мы поместились в отцовском кабинете, приказали принести большой запас дров и во все время пребывания нашего в деревне содержали неугасаемое пламя в камине, у коего поставили двух мальчиков для наблюдения за тем, чтобы огонь не погас. К вечеру перепилась почти вся

старая дворня, причем не обошлось без драк и скандалезных происшествий, в коих нам доводилось судить ссорившихся и успокаивать шумливых убедительными речами. Иные хотели с нами отправляться на войну, и мы сами не рады были возбудившемуся появлением нашим буйному духу.

Обрадованный или испуганный внезапным приездом нашим, приказчик Артемий прискакал из села Мроктина, где он обыкновенно пребывает и уже 15 лет как постоянно находится под каплею,[21] от чего, может быть, и сделался заикой. Желая показать первенство свое над другими, он выступил вперед и собирался сказать нам речь, но язык его не зашевелился; он наклонился под углом 45 градусов к нам, выставил одну ногу вперед, дабы не упасть, и оказался в таком положении, что если б ему один только золотник на голову положить, то, перевесившись, он лежал бы у нас в ногах. Левой рукой держался он за кушак, правой же делал различные знаки, желая что-то сказать, но судорожное молчание его только изредка прерывалось отрывистыми восклицаниями: «Батюшка Александр Николаевич! Батюшка Николай Николаевич! Батюшка Михайло Николаевич! А вас (указывая на Колошина), виноват, не знаю, как зовут; того, того, того. Хлеб, сударь того, того, десяточек яиц! Шесть курочек того, того, урожай, того, того, того, сударь, оброк. Отцы родные! Соколики!» – и пр. Мы его уговорили уйти и заснуть; он послушался, но на другой день, встав до солнца, опять пришел и простоял в углу занимаемой нами комнаты в том же нравственном расположении, как накануне.

Хотелось мне объехать старых соседей. Я помнил, что была какая-то пожилая соседка Парасковья Федоровна, которая жила в двух верстах от нас, помнил даже дорогу к ней. Приказав оседлать лошадь, я навестил ее и нашел ту же старушку. В доме ее находилось все в том же положении, как я за 12 лет видел: на стене висел в круглой черной рамке тот же барельефом сделанный монумент Петра Великого, по окнам висели те же клетки с канарейками, те же кошки с котятами, которые меня царапали и с которыми мне играть запрещали – разумеется, потомки прежних канареек и котят. Я заметил только, что у Парасковьи Федоровны выросли седые, редкие, но довольно длинные усы, чего у нее прежде не было. Проведя у нее около часа, я возвратился к нашему пылающему камину.

Я навестил также безрукого и безногого соседа, барона Роткирха, которого видел в моем ребячестве. Он тогда жил с женатым братом своим в другом селе; дом и садик у них были хорошенькие. Ныне же, после развода брата его с женой, он остался одинокий. При разделе, в коем его, может быть, и обидели, ему досталась изба с небольшим участком земли, несколько дворов крестьян и слуга. Этот барон Роткирх родился без рук и без ног; на месте ног у него две маленькие лапки длиной вершков в шесть с пальцами. Туловище и голова его очень большие. Он получил некоторое образование и около 50 уже лет сидит неподвижно на своих лапках, занимаясь чтением. Листы лежащей пред ним на пюпитре книги переворачивает он языком и зубами. Выражение лица его приятное и умное, разговор занимательный; он хорошо пишет своими лапками, даже рисует и вырезает из бумаги разные игрушки для детей. Он езжал к нам на дрожках, сидя на кожаной подушке, с которой его вносили на ремнях в комнату; слуга кормил его, стоя за стулом, и давал ему даже табак нюхать. Когда Роткирх жил в своем семействе с матерью, которую очень любил, он не думал о своей будущности; круг соседей их был многолюден, и они находили удовольствие в беседе с человеком, довольно начитанным. Я навестил несчастного вечером, уже в сумерках. Он сидел на стуле один без свечки: слуга его часто отлучался, оставляя его одного на целые сутки, иногда с отпертыми настежь дверьми. Слова его ни к чему не служили, и ему приходилось терпеть холод, ибо никто его не посещает. В избе заметна бедность, но беспомощный страдалец с терпением и в молчании переносит свою горькую участь.

---

[21] Это выражение означает быть навеселе. (*Примеч. П. И. Бартенева – далее П. Б.*)

– Антон Антонович, – сказал я ему, – сочувствую вашему несчастию и желал бы посещением своим, хотя на минуту, утешить вас.

– Благодарю вас, Николай Николаевич, – отвечал он. – И батюшка ваш не оставлял меня. Вы видите, мое положение не то, что прежде было. В течение пятидесятилетней жизни моей я привык к терпению, и что же больше делать? Вот уже почти десять лет, как я заброшен, забыт и десять лет молчу. Теперь уже недолго ждать конца: Бог милостив и прекратит мою жизнь.

Я возвратился к камину грустный и застал дома другого соседа. Опишу его и виденное у него в доме как картину быта мелкого помещика и деревенской его жизни.

То был Петр Семенович Муравьев, дальний родственник наш, человек лет 50-ти, когда-то записанный сержантом в Измайловском полку, откуда он был выпущен, как при Екатерине водилось, капитанским чином по армии; вышел в отставку, никогда не служивши, и поселился на житье в своем сельце Радгуси, отстоящем в пяти верстах от нашего Сырца. Тут он построил себе порядочный дом, копит деньги и ездит каждые пять или шесть лет на лошадях своих крестьян в Москву; иногда бывает в Петербурге, где останавливается в Ямской слободе у знакомых ямщиков, откуда справляет в зеленой тележке визиты к своим родственникам, засиживаясь у них по целым дням; если же не с ними, то пьянствует с их дворовыми людьми. Хотя человек этот без всякого воспитания, но он по носимой им фамилии ласково принимаем моим отцом, к которому имеет большое уважение. Обыкновенное общество Петра Семеновича в деревне состоит из попов и приказчиков околотка, с которыми он пьет и нередко дерется, причем случалось, что его обкрадывали и пьяного привозили на телеге домой без часов или других вещей, при нем находившихся. Петр Семенович известен также в околотке своими раскрашенными дугами и коренными лошадьми, на которых он иногда тратит деньги. Он жестоко обходится со своими крестьянами и дворовыми людьми, насильственно бесчестит девок и в пьянстве своем палками наказывает баб, раздев их прежде наголо и привязав к кресту, на сей предмет сделанному. Такая, по крайней мере, неслась о нем дурная слава. Вместе с этим он большой хлебосол. С ним в доме живут баба-наложница, староста и кучер Фомка; при нем же находилась и побочная дочь его, хорошенькая девочка, лет 18-ти, которую он часто бивал по праву родительскому; говорили, что и она вела жизнь не совсем скромную. Едва ли проходил год, в который не бежал бы от него кто-либо из его дворовых людей, с уворованием денег из накопляемой им казны, которая хранится в амбаре, в окованном сундуке за несколькими замками, из коих первый у него самого всегда в руке. Некоторые из сих беглых людей были пойманы и зарезались. Затем из дворовой прислуги оставался при Петре Семеновиче только один десятилетний мальчик, который за ним безотлучно носил табакерку и платок в те дни, когда к нему приезжали гости. Мальчика этого называл он *Шер* и постоянно драл его за уши.

Услышав о приезде нашем, Петр Семенович крайне обрадовался, прискакал к нам и, приказав вытопить у себя баню, звал нас на другой день к себе обедать. На другой день мы отправились к Петру Семеновичу; обед был хороший. Хозяин всячески старался угождать нам, и, хотя то было во время Великого поста, он велел созвать всех деревенских баб и девок, поставил их в комнату около стен и приказал им песни петь. Между тем сам он не переставал пить и нас хотел к тому же склонить; но мы были осторожны и выливали вино под стол на пол. Хозяин начал было плясать, но не будучи более в состоянии ходить, он приказал себя по комнатам водить, только приплясывал и кланялся нам в ноги с поддержкой, разумеется, старосты и Фомки-кучера. Перед ним шел наименованный Шер с платком и табакеркой барина, не перестававшего твердить нам:

– Батюшка ваш, братец мой Николай Николаевич, которого я много люблю и почитаю, сказал мне: Петр Семенович в тебе ума палата! Ах, не будь я Муравьев, дай башмаки к царю пойду.

Пьяный надел он милиционную шляпу свою с зеленым султаном, препоясался саблею, и в таком виде волокли его по комнатам. Когда ввечеру мы в бане мылись, то Фомка и староста привели его под руки к нам пьяного и еще наголо раздетого.

Было поздно. Мы хотели возвратиться домой, но кучера наши были пьяны, а Петр Семенович не велел саней закладывать. Александр остался с ним, мы же разошлись по другим комнатам и легли на полу как были в мундирах, подложив шинели в голову. Только что мы начали засыпать, как Петр Семенович пришел к нам с бабами и приказал им петь; мы вскочили и хотели уйти, но он громко приказал певицам молчать, и все замолчали. Тогда, став впереди их, он провел рукою по воздуху и возгласил им, при самых наглых выражениях, что он их барин.

– Так ли? – заревел им барин.

– Так, батюшка Петр Семенович, – отвечали они, кланяясь со страху.

– Так пойте же громко и хорошо, а не то я вас! Греметь! – и все загремело. Комнаты наполнились певицами, от коих некуда было деваться. Колошин шепнул на ухо Михайле, что надобно собираться домой, хотя бы то было пешком. Петр Семенович, услышав это, напал на Колошина:

– Что ты по-французски-то толкуешь, калмык, башкирец и пр., вон отсюда!

Колошин, опасаясь толчка от сумасброда, готовился было предупредить его, но был задержан братом. После того сосед наш, рассердившись, отпустил нас, и мы возвратились домой очень поздно.

На следующий день мы получили от Петра Семеновича записку, в которой он просил нас опять к себе, чтобы извиниться перед нами. Не желая оскорбить соседа, мы поехали и застали его на крыльце, окруженным всем своим вечерним штатом: тот же староста с кучером Фомкой держали его под руки. Увидев нас издали, он, как блудный сын, пал ниц на ступенях крыльца и вопил: «Виноват!», не будучи в лучшем состоянии, как накануне. Опасаясь возобновления прошедшего, мы провели у него с полчаса и поспешили возвратиться домой; он же, по обычаю своему, продолжал гулять таким образом, не выпуская день и ночь баб из своих хором.

– Такое у меня сердце! – говорил Петр Семенович.

После пятидневного пребывания в Сырце, мы поехали обратно в Лугу, откуда продолжали свой путь далее.

Перегонов пять за Псковом была почтовая станция Синская, на берегу реки Великой, через которую нам доводилось переправиться для перемены наших уставших от долгого перехода обывательских лошадей. Мы тащились ночью почти всю станцию пешком и, наконец, увидели впереди огонек на почтовом дворе за рекой Великой, на которой лед уже было тронулся, но остановился и снова примерз от бывшего в последние две ночи мороза. На реке оставался только след старого пути, которого извозчики наши не знали и потому поехали прямо. Первые сани провалились сквозь лед недалеко от берега, где еще не было глубоко, и их скоро вытащили.

Ночь была темная, холодная, река широкая и глубокая, опасно было ее переехать без проводника; но, видя огонек, я решился и, приказав саням дожидаться на берегу, пустился пешком ощупью по льду, который подо мною трещал. В надежде привести с почты проводника я продолжал путь свой, но отошедши сажень двадцать, когда я был на самой середине реки, лед подо мною вдруг обрушился, и я провалился. На мне был тулуп и сабля, которые меня на дно тащили. Едва успел я руками опереться о края проруби, как ноги стало вверх под лед подымать и волочить по течению. Я упирался, сколько сил было, руками об лед, чтобы вылезть; но лед ломался под руками, и прорубь становилась обширнее. Теряя надежду вылезть, я кричал братьям:

– Прорубь, прорубь!

Но они, не зная, что я в нее провалился, отвечали:

– Прорубь, так обойди!

Тогда я в отчаянии закричал им:

– Братья, помогите, тону! – и, говорят, таким диким голосом, что они испугались.

Они все бросились искать меня по реке. Александр прежде всех нашел меня по голосу и, прибежав к проруби, не видя меня в темноте и полагая, что я уже под водой, с поспешностью бросился в прорубь, чтобы меня вытащить, и ощупал меня. Мы держались друг за друга одной рукой, другой же цеплялись за лед, чтобы вылезть, но лед все ломился. Тут подбежал Петр, слуга брата Михайлы, который был тогда еще небольшим мальчиком; лед выдержал его, и он нам помог вылезть. Между тем Колошин и брат Михайла, которые бежали ко мне на помощь в другую сторону, тоже провалились вместе; их вытащил мой слуга.

Возвратившись на берег, мы собрались, перекликаясь, и пошли в сторону отыскивать какой-нибудь ночлег, чтобы осушиться и обогреться. С версту тащились мы без дороги, по глубокому снегу; все на нас обледенело, и мы, наконец, добрались до небольшой деревушки, где забрались на печь и оттаяли. Тут и ночевали. На другой день, приехав к реке, увидели стежку, по которой можно было ехать, и переехали благополучно. Но прежде сего брат Михайла отыскал проводников, которые на время ростепели назначаются к сему месту от земской полиции, с приказанием сменяться на берегу день и ночь, и которых накануне не было. Он, объяснив им виновность их, приговорил к наказанию и приказал при себе же наказать, после чего внушал им словами, как всякий человек должен исполнять свою обязанность, и отпустил их.

В избе, где мы ночевали, был небольшой мальчик, коего черты и выражение лица разительно напоминали мне Наталью Николаевну Мордвинову. Набросав лик его карандашом на лоскуте бумаги, я не расставался с сим изображением во все время похода. В 1815 году с помощью сего очерка мне удалось с памяти нарисовать портрет ее в миниатюре…

Предыдущий случай на реке Великой не придал нам, однако, благоразумия. Несколько станций не доезжая города Видры, извозчики предложили нам ехать кратчайшей верст на 8 дорогой по льду чрез Браславское озеро, и мы пустились тоже ночью. Извозчики заблудились на озере, потому что метель совершенно занесла дорогу. Мы кружили по всему озеру, перебираясь чрез трещины; небо закрылось облаками, и не было видно звезд; караван наш вдруг остановился. Коренная лошадь в передовых санях провалилась, мы соскочили, а извозчик бежал. Лошадь его действительно сидела задними ногами и брюхом в проруби, и лед кругом трещал. Долго мы на этом месте бились, лошадей вытащили; но мы еще с час после того шли пешком по озеру, наконец, прибыли к какому-то селению на берегу и закаялись ночью по льду более не пускаться. Мы переночевали в селении, куда и беглый извозчик наш явился. Он уверял, что три раза обежал все озеро, и лежал у нас в ногах. Его простили.

К следующей ночи прибыли мы на станцию, расположенную в лесу. Смотритель был какой-то польский шляхтич по имени Адамович. Он не хотел нам дать ни лошадей, ни жалобной книги. Мужик он был рослый, сильный и грубый. Однако мы собирались с ним расправиться, и ему бы плохо пришлось, если б не догадался уйти *до лясу*, куда увел с собою всех лошадей и извозчиков, оставив нас на станции одних. Мы поставили свой караул у дверей, чтобы захватить первого, кто явится; показался староста, его схватили и угрозами заставили привести лошадей. Мы отправились далее. Адамович, как я после узнал, вступил во французскую службу, где был гусаром.

Мы поехали весьма медленно, потому что проезжих в армию было очень много, выставлены же были на станциях обывательские изнуренные лошади, отчего часто встречались остановки.

Из города Видры Александр поехал вперед для приготовления нам в Вильне общей квартиры. Трех станций не доезжая Вильны, есть почтовый двор в лесу, помнится мне, *Березово*, где смотритель был также шляхтич и большой плут. Он хотел взять с нас двойные прогоны и для достижения своей цели услал почтовых лошадей в лес, за что был нами побит, но без пользы. Дело происходило под вечер. Видя, что нас тут бы долго задержали, мы отправили

брата Михайлу с Кузьмой, слугой Колошина, верхом на собственных лошадях смотрителя в сторону, искать какого-либо места или селения, чтобы добыть там каких-нибудь лошадей. К утру брат возвратился в польской бричке, а перед ним Кузьма гнал табун лошадей с крестьянами. Выбрав из них лучших, остальных мы отпустили; почтмейстера же еще побили и отправились в путь.

Вот каким образом брат Михайла разжился лошадьми. Со станции поехал он лесом по стежке, не зная сам куда. Проехав версты четыре, он прибыл на фольварк и пошел прямо к пану, выдавая себя за полковника, Кузьму же в мундире денщика за своего адъютанта. Пан потчевал их и представил им своих детей; когда же дело дошло до требования, то пан стал ломаться, и брат не иначе, как угрозами, мог вызвать к себе старосту, которому приказал привести лошадей, а сам уснул. Поутру староста привел четырех лошадей; но брат, не будучи тем доволен, пошел сам с нареченным адъютантом своим по деревне, начав с крайнего двора. Они стали выгонять хозяев из домов, и по мере того, как они оставляли свои избы, Кузьма забирал со двора лошадей, брат же расправлялся нагайкой с собравшейся на улице толпой, не допуская возвращения крестьян к своим дворам. Некоторые из них стали, однако, противиться и, схватив палки, подошли к Михайле с угрозами. Тогда он выхватил пистолет и, приложившись на них, закричал, что убьет первого из них, кто приблизится. Крестьяне испугались и по приказанию брата нарядили извозчиков к согнанным лошадям, с которыми он явился к нам на станцию.[22]

Подъезжая к станции Боярели, мы увидели в поле учение стоявших тут двух егерских баталионов и на короткое время остановились посмотреть различные построения войска. Мысли наши обращались к предстоявшим военным действиям, коих желали скорее увидеть начало. В Боярелях смотритель был какой-то старый важный пан; он имел двух хорошеньких дочерей, за которыми волочились пришедшие после ученья егерские офицеры.

Наконец прибыли мы к вечеру в местечко Неменчино, откуда оставалось только 30 верст до Вильны. Мы остановились ночевать, дабы приехать в Вильну днем. Хозяин корчмы, где мы остановились, был жид. Он имел двух прекрасных дочерей, из коих старшая называлась Белла. Брат Михайла весь вечер ухаживал за нею с Колошиным. Прелестная еврейка приобрела знаменитость после поцелуя, данного ей государем в проезд его через Неменчино. Впоследствии она переехала в Вильну, где сделалась известной в высшем кругу военной знати главной квартиры.

Мы надеялись на другой день рано приехать в Вильну; но лошади попались такие слабые, что мы дотащились только ночью. Мы нашли у заставы записку от брата Александра, а вскоре и его самого спящим в квартире свиты Его Величества капитана Сазонова. Усталые, мы сами тут же подремали, а на другой день получили квартиру у пана Стаховского в Рудницкой улице.[23] К нам присоединился, чтобы вместе жить, по производству в офицеры, прежний товарищ мой, а тогда адъютант князя П. М. Волконского, прапорщик Дурново.[24]

Мы явились к генерал-квартирмейстеру Мухину. Занятий было мало, и потому он приказал нам только дежурить при нем. Помню, что в мое дежурство приехал в Вильну государь и что я просидел во дворце до 2-го или 3-го часа утра (по полуночи). Мухин был человек пустой и, говорят, довольно упрямый, бестолковый; образование он не имел, наружностью же был похож на состарившегося кантониста. При нем находился сын его колонновожатый, умненькой мальчик; адъютантами при нем состояли свиты Его Величества поручик Озерской, человек очень простой, и прапорщик Десезар, офицер 4-го, помнится мне, егерского полка.

---

[22] Рассказ этот указывает на настроение польского шляхетства перед войной, равно и расположение к полякам молодых офицеров. Таковы были и порядки между жителями, с которыми военные по-своему расправлялись. *(Примеч. 1866 г.).*

[23] Находясь в 1851 году с гренадерским корпусом в Вильне, я тщетно старался найти дом Стаховского. Дома все перестроились, и Стаховского имени никто не помнит.

[24] Н. Д. Дурново убит в Турецкую войну 1829 года в звании бригадного командира.

Колошин явился к своему начальнику капитану Теннеру, обер-квартирмейстеру легкой гвардейской кавалерийской дивизии, коей командовал генерал-адъютант Уваров.

Скоро начались увеселения в Вильне, балы, театры; но мы не могли в них участвовать по нашему малому достатку. Когда мы купили лошадей, то перестали даже одно время чай пить. Мы жили артелью и кое-как продовольствовались. У нас было несколько книг, мы занимались чтением. Из товарищей мы знались со Щербининым, Лукашем, Глазовым, Колычевым, ходили и к Михаилу Федоровичу Орлову, который тогда состоял адъютантом при князе П. М. Волконском. Тяжко было таким образом перебиваться пополам с нуждой. Новых знакомых мы не заводили и более дома сидели. Такое существование неминуемо должно иметь влияние и на успехи по службе. Однако же брат Александр с трудом переносил такой род жизни. Он пустился в свет и ухаживал за дочерью полицеймейстера Вейса. Она после вышла замуж за генерал-адъютанта князя Трубецкого. Мы познакомились с братом ее, который служит ныне в лейб-гвардии Уланском полку. Александр волочился еще за панной Удинцувой, пленившей красотой своею всех офицеров главной квартиры. Дурново был в особенности занят этой знаменитостью лучшей публики тогдашней Вильны. При всем этом нужда заставляла и брата Александра умеряться в своем образе жизни. Мы были умерены и в честолюбивых видах своих. Однажды, в разговоре между собою, каждый из нас излагал, какой бы почести желал достичь по окончании войны, и я объявил, что останусь доволен одним Владимирским крестом в петлицу.

Надобно было покупать лошадей, по одной вьючной и по одной верховой каждому. Брат Михайла был обманут на первой лошади цыганом, а на другой шталмейстером какого-то мек-лен-, или ольденбургского принца. Он ходил о последнем жаловаться самому принцу; но немец объявил ему, что никогда не водится возвращать по таким причинам лошадей и что у него на то были глаза. Брату был 16-й год, он никогда не покупал лошадей и не вообразил себе, чтобы принц и генерал мог обмануть бедного офицера; но делать было нечего. Итак, деньги его почти все пропали на приобретение двух разбитых ногами лошадей, помочь же сему было нечем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.